

Борис
СЛУЦКИЙ

Лошади
в океане



Борис Слуцкий

Лошади в океане (стихотворения)

«ЭКСМО»

Слуцкий Б. А.

Лошади в океане (стихотворения) / Б. А. Слуцкий — «Эксмо»,

Борис Слуцкий (1919–1986) – один из самых крупных поэтов второй половины XX века. Евгений Евтушенко, Евгений Рейн, Дмитрий Сухарев, Олег Чухонцев, и не только они, называют Слуцкого великим поэтом. Иосиф Бродский говорил, что начал писать стихи благодаря тому, что прочитал Слуцкого. Перед вами избранное самого советского антисоветского поэта. Причем – поэта фронтового поколения. Огромное количество его лучших стихотворений при советской власти не было и не могло быть напечатано. Но именно по его стихам можно изучать реальную историю СССР. Книга составлена так, чтобы это было легче сделать. Лирика Слуцкого эпична. Судьба Слуцкого трагична.

© Слуцкий Б. А.

© Эксмо

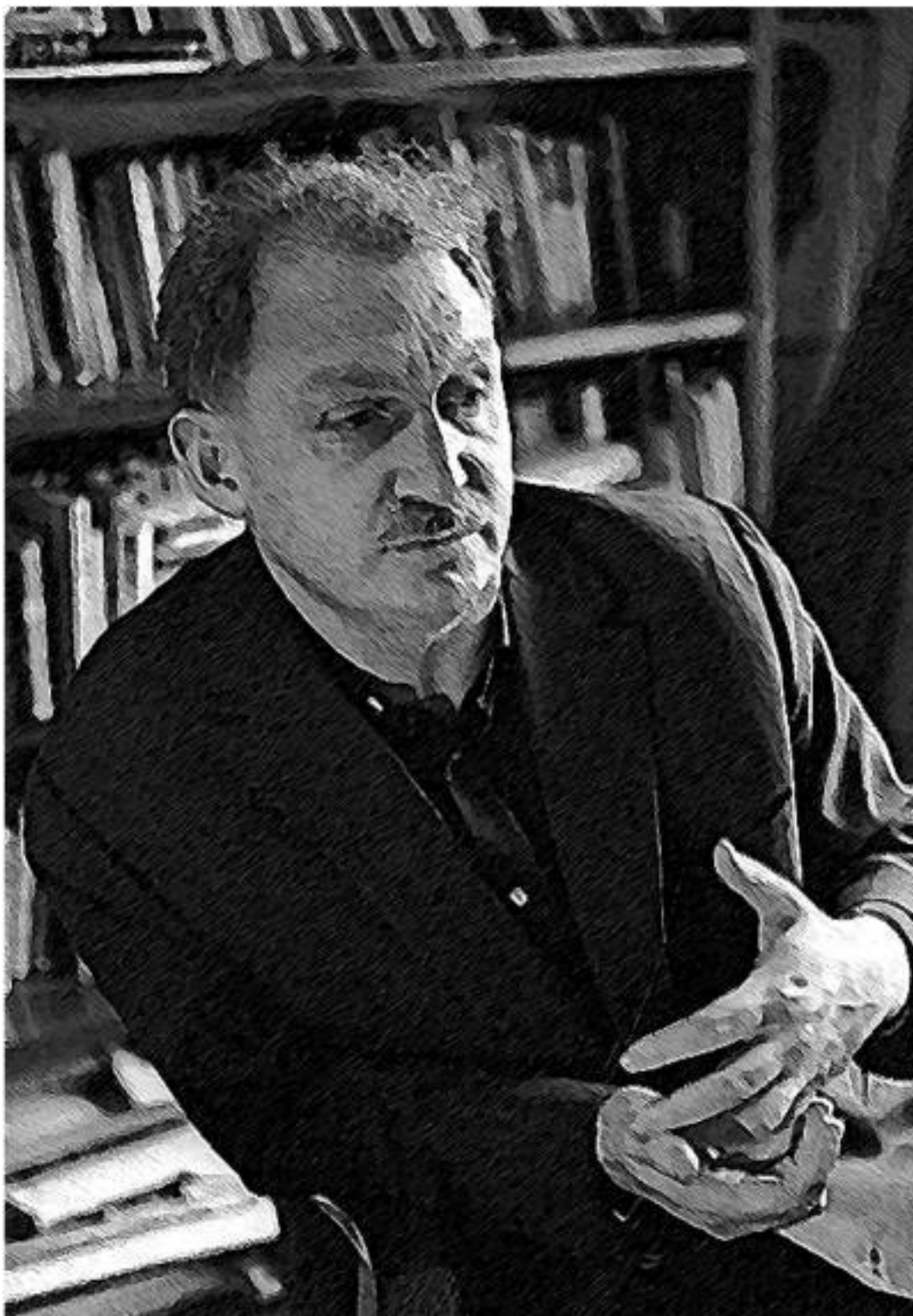
Содержание

Олег Хлебников	6
* * *	17
Советская старина	18
Броненосец «Потемкин»	18
* * *	19
Часторговцы	20
Последние кустари	21
Старуха в окне	22
Старые офицеры	23
Елка	24
Советская старина	25
Трибуна	26
Деревня и город	28
Какой полковник!	29
Школа для взрослых	30
Ножи	32
Лопаты	33
Названия и переименования	34
Рука	35
Идеалисты в тундре	37
Прозаики	38
Размол кладбища	39
Сороковой год	41
21 июня	42
Это было моей персональной войной	43
Первый день войны	43
Сон	45
Одиннадцатое июля	46
РККА	47
* * *	48
Сбрасывая силу страха	49
Политрук	50
Немка	51
Казахи под Можайском	53
Высвобождение	54
Ранен	55
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Борис Слуцкий Лошади в океане

Олег Хлебников

**Советский Иов. Свидетельские показания
и пророчества Бориса Слуцкого**



Его присутствие в одном с тобой помещении делало тебя и это помещение маленькими. В его пятьдесят с небольшим было невозможно представить, что он когда-то был «молодым и рыжим». Те, кому нынче столько, выглядят в сравнении с ним полысевшими или поседевшими мальчишками – неужели он действительно навсегда «старше на Отечественную войну»?

Он мог показаться высокомерным, сухим и скупым на проявления, а был застенчивым до внезапного покраснения и душевно щедрым. Впрочем – не только душевно. «Как с деньгами?» – первое, что он спрашивал у тех, кого считал своими младшими коллегами. И давал займы без отдачи. Он был дядькой (в дореволюционном значении) молодых поэтов (вел «на общественных началах» семинар, следил за публикациями – при этом звонил и выражал свое мнение), а его называли комиссаром. Хотя и комиссаром он тоже был, говорил лаконично и по-военному отрывисто, любил четкость, не терпел расхлябанности.

С детства его главной чертой была верность: идеалам, точным знаниям, любимым книгам, друзьям. Потом будет верность любимой женщине. Но встретит он ее поздно.

Вот что пишет Петр Горелик, друг юности и всей жизни Слуцкого:

«Уже в третьем классе он был школьной знаменитостью. Его знания гуманитарных предметов поражали не только сверстников, но и учителей.

Особенно знаменит Борис был знанием истории – не по школьным учебникам, русскую историю, например, – по Карамзину и Ключевскому.

Но нас, его товарищей, привлекала не только эрудиция Бориса – покоряла его цельность, недетская принципиальность, постоянство его привязанностей, удивительное чувство справедливости.

Ну и конечно, мальчик, который после школы не бежал на улицу играть, а садился за книгу, не предусмотренную программой и не заданную учителем, – такой мальчик был выше нашего понимания. Для нас – детей улицы, детей городской бедноты: рабочих, мелких служащих, кустарей, – Борис был маленьким чудом из другой жизни, хотя он рос в семье, не отличавшейся большим достатком и жившей в таком же вросшем в землю доме на шумной базарной харьковской площади, в каких жили многие из нас.

В доме Слуцких, после того как мы подружились, я стал очень частым гостем. Борис был первенец, младше его были брат Ефим и сестра Мура. На правах абсолютно равноправного члена жила в семье немолодая Анна Николаевна – любимая няня Аня. Шесть человек жили в двух среднего размера комнатах, из которых одна не имела окна. Выгороженный занавеской угол для керосинки служил кухней. Уборная – во дворе.

Единственное окно Слуцких выходило во двор, который был не лучше шумной и грязной базарной площади: какая-то артель развернула здесь рыбокоптильню.

Среди этой базарной стихии, как мирный островок, жила дружная семья, поражавшая меня, привыкшего к совсем другим внутрисемейным отношениям, своей сплоченностью и культом детей.

Мать Бориса, Александра Абрамовна, была женщиной мягкой, образованной, внушавшей к себе уважение. Борис внешне походил на мать.

Я помню ее высокой, стройной, светлоглазой. Ее отличала глубокая интеллигентность – качество редкое в окрестностях Конного базара.

Интеллигентность проявлялась во всем: в воспитании детей, которых она учила музыке и английскому, в отношении к их товарищам, соседям, к Анне Николаевне. Люди, привыкшие к семейным скандалам и дворовым потасовкам, старались сдерживать себя в ее присутствии.

Отец Бориса, Абрам Наумович, был человеком другого склада. Хотя он не меньше жены любил детей, его духовное влияние на них было несравненно меньше. От него дети переняли упорство и трудолюбие. Не мешал жене воспитывать детей, но скептически относился к гума-

нитарной направленности их воспитания. Он считал, что образование должно дать положение и материальное благополучие.

Чтобы не обижать отца, окончив школу, Борис поехал поступать в Москву не на исторический или филологический факультет, а в Московский юридический институт, куда и был принят как золотой медалист».

В Москве Слуцкий быстро обрел новых товарищей, многие из которых стали друзьями на всю жизнь. Среди них были не только однокурсники по юридическому институту (а вскоре он поступил еще и в Литературный), но и молодые поэты: Давид Самойлов, Сергей Наровчатов, Павел Коган, Михаил Львовский. В эту же дружескую и цеховую (в гумилевском значении этого слова) группу входил и перебравшийся в Москву старый харьковский друг Слуцкого, поэт, которого он ставил выше себя, – Михаил Кульчицкий.

Разговоры молодые поэты вели вольные. И это в конце тридцатых! Но никто из них не попал под сталинскую чугунную машину репрессий.

Случайность?

Давид Самойлов объяснял этот феномен так: «Само наличие такой компании, где происходили откровенные разговоры о литературе и политике, разговоры, которые мы называли «откровенным марксизмом», могло в ту пору закончиться плохо. Но среди нас не было предателя».

Счастливым круг молодых друзей-поэтов разорвала война.

Слуцкий ушел на фронт добровольно, имея в кармане отсрочку по призыву, не успев сдать всех выпускных экзаменов. Ушел внезапно для друзей, многих из которых уже никогда не увидел. Войну с фашизмом он предчувствовал задолго до ее начала и участие в ней считал не только главным делом поколения, но персональным долгом каждого. Тех из своего поколения, кто не был на фронте, он недолюбливал. А тех, кто с фронта не вернулся, помнил всю жизнь. Среди не вернувшихся друзей оказались Кульчицкий и Коган. Он называл их смерть главными военными потерями нашей поэзии.

Памяти Кульчицкого он написал стихотворение, про которое сам говорил, что здесь прыгнул выше головы:

Давайте после драки
Помашем кулаками:
Не только пиво-раки
Мы ели и лакали,
Нет, назначались сроки,
Готовились бои,
Готовились в пророки
Товарищи мои.

Сейчас все это странно,
Звучит все это глупо.
В пяти соседних странах
Зарыты наши трупы.
И мрамор лейтенантов —
Фанерный монумент —
Венчанье тех талантов,
Развязка тех легенд.

За наши судьбы (личные),

За нашу славу (общую),
За ту строку отличную,
Что мы искали ощупью,
За то, что не испортили
Ни песню мы, ни стих,
Давайте выпьем, мертвые,
Во здравие живых!

В июле 1941 года Слуцкий был тяжело ранен и несколько месяцев пролежал в госпитале в Свердловске. По свидетельству Давида Самойлова, сообщал о ранении не без шика: «Вывало из плеча мяса на две котлеты».

Шутить он мог над самим собой, но никогда над идеалами, в которые верил: равенство, братство, интернационализм. А советский бог, роль которого с ветхозаветной жестокостью и азиатским коварством тогда уже исполнял Сталин, подвергал его веру тягчайшим испытаниям. Борис Слуцкий – советский Иов.

Эти испытания для Слуцкого – ввиду возраста («Девятнадцатый год рождения – / Двадцать два в сорок первом году») – начались именно с войны. Сначала он увидел обезглавленную Сталиным Красную армию:

Кадровую армию: Егорова,
Тухачевского и Примакова,
отступавшую спокойно, здорово,
наступавшую толково, —
я застал в июле сорок первого,
но на младшем офицерском уровне.
Кто постарше – были срублены
года за три с чем-нибудь до этого.
...Помню генералов, свежавышедших
из тюрьмы
и сразу в бой идущих,
переживших Колыму и выживших,
почестей не ждущих...

Потом учившийся до войны на юриста Слуцкий узнал изнутри, как осуществлялось на войне сталинское правосудие:

За три факта, за три анекдота
вынут пулеметчика из дота,
вытащат, рассудят и засудят.
Это было, это есть и будет.
...Я когда-то думал все уладить,
целый мир облагородить,
трибуналы навсегда отводить
за три факта человека гробить.
Я теперь мечтаю, как о пире
духа,
чтобы меньше убивали.
Чтобы не за три, а за четыре
анекдота

со свету сживали.

Чтобы трибуналы не гробили невинных – это не было для Слуцкого абстрактной мечтой, он сам некоторое время был следователем военной прокуратуры (как выпускник юридического института), тяготился работой военюриста и оставил такое вот поэтическое свидетельство:

Я судил людей и знаю точно,
что судить людей совсем не сложно, —
только погода бывает тошно,
если вспомнишь как-нибудь оплошно.
Кто они, мои четыре пуда
мяса, чтоб судить чужое мясо?..

Русский философ Ильин писал, что истинное правосознание – категория религиозная. И в этом смысле атеист Слуцкий («В самый темный угол/ меж фетишей и пугал/ я Тебя поместил./ Господи, ты прости?») – человек глубоко верующий. Во что? Прежде всего – в необходимость и неизбежность высшей справедливости. Его стихи – свидетельства должны быть заслушаны на страшном суде истории, да и просто – на Страшном Суде. Но еще до него по этим стихам можно и нужно изучать реальную историю России XX века. И историю Великой Отечественной – в частности. Точность поэтического слова и абсолютная честность свидетеля и соучастника истории Бориса Слуцкого – гарантия достоверности на уровне засекреченных документов из президентского архива.

Вот какова, по показаниям Слуцкого, судьба тысяч и тысяч до сих пор не захороненных солдат той войны, погибавших отнюдь не только от немецких пуль и снарядов:

Расстреливали Ваньку-взводного
за то, что рубежа он водного
не удержал, не устерег.
Не выдержал. Не смог. Убег.
Бомбардировщики бомбили
и всех до одного убили.
Убили всех до одного,
его не тронув одного.
Он доказать не смог суду,
что взвода общую беду
он избежал совсем случайно.
Унес в могилу эту тайну.
Удар в сосок, удар в висок,
и вот зарыт Иван в песок,
и даже холмик не насыпан
над ямой, где Иван засыпан.
До речки не дойдя Днепра,
Он тихо канул в речку Лету.
Все это сделано с утра,
зане жара была в то лето.

Ну а потом была Победа... И двадцатилетний майор Слуцкий вновь почувствовал себя молодым – «четыре года зрелости промчались» и весь мир снова был перед ним распахнут, как синее небо юности. Но это ощущение длилось недолго. Фронтовик, прошедший «длинную

войну» от самого начала до конца, получивший на ней, помимо трех советских орденов и болгарского ордена «За храбрость», тяжелую контузию, которую лечил стихами и вылечил («Но вдруг я решил написать стих,/ потрянуть стариной./ И вдруг головной тик – стих,/ что-то случилось со мной...»), несколько послевоенных лет не мог даже устроиться на работу – подрабатывал на радио. Советский бог продолжал испытывать веру советского Иова:

Когда мы вернулись с войны,
я понял, что мы не нужны.
Захлебываясь от ностальгии,
от несовершенной вины,
я понял: иные, другие,
совсем не такие нужны...

А нужны были от «победителя гитлеровских полчищ», который «и рубля не получил на водку, хоть освободил полмира», только покорность и терпение. Советский бог (как тут не вспомнить: «Однажды я шел Арбатом,/ Бог ехал в пяти машинах...»?) этого и не скрывал – на приеме фронтовиков в Кремле в честь Победы высказался прямо:

Сталин взял бокал вина
(может быть, стаканчик коньяка),
поднял тост – и мысль его должна
сохраниться на века:
за терпение!
...Трус хвалил героев не за честь,
а за то, что в них терпенье есть.
...Страстотерпцы выпили за страсть,
выпили и закусили всласть.

Как известно, победители в войнах усваивают нравы и обычаи побежденных. Наши фронтовики повидали Европу, ее цивилизационные достижения. Не потому ли «верхами» была развязана кампания борьбы с «безродным космополитизмом», «низкопоклонством перед Западом»? И в то же время сердцевинной борьбы с космополитизмом стал хорошо усвоенный фашистский антисемитизм, ставший государственной сталинской политикой, не изжитой до сих пор. Этот государственный антисемитизм, больно ударивший верившего в советский интернационализм Слуцкого, – так же относился лично к нему, как и «ненужность» после войны:

Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.
Евреи – люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.
Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»

Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.
Пуля меня миновала,
Чтоб говорилось нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»

Именно Слуцкий – еще до XX съезда – написал мощные антисталинские стихи «Бог» («Мы все ходили под богом...») и «Хозяин» («А мой хозяин не любил меня...»), которые стали широко известны. Неудивительно, что Илья Эренбург, придумавший в качестве обозначения послесталинского государственного вегетарианства слово «оттепель», провозгласил первым поэтом этой «оттепели» Слуцкого. Его статья в «Литгазете» (1956 год) о Борисе Слуцком вышла еще до первой книги поэта и произвела фурор. «Оттепели», как писал Самойлов, нужна была поэтическая капель.

И сам Слуцкий поверил в «оттепель», даже в ренессанс.

Вообще 1956—1957 годы были самыми счастливыми в его жизни. После разоблачения «культа личности» Сталина, уже в 1957 году вышла первая книга Слуцкого «Память», вызвавшая огромный читательский интерес. С началом «оттепели» он и сам, как человек и мужчина, как будто оттаял. И сразу же встретил свою единственную настоящую любовь – Татьяну Дашковскую.

К тому времени Слуцкий получил от Союза писателей квартиру – совместно с семьей Григория Бакланова. Вскоре после встречи с Таней договорился о размене. И размен удался! У него впервые появилась своя отдельная квартира (до этого, как любил повторять, снимал 22 комнаты). Эта маленькая квартира располагалась недалеко от Рижского вокзала (так же недалеко от Рижского вокзала, на Пятницком кладбище, он и похоронен) и проходила по какому-то железнодорожному ведомству. Даже телефон был с коммутатором. В этой своей единственной за всю жизнь квартирке Слуцкий был счастлив.

Но наступил 1958 год.

Как гром среди ясного «оттепельного» неба прогремела история с публикацией за границей «Доктора Живаго» Пастернака и Нобелевской премией за роман. Слуцкому предложили (мягко говоря) выступить на позорном собрании Московской писательской организации, исключившей Пастернака из Союза писателей. Евгений Евтушенко, который тогда пытался его остановить, говорит сейчас: «Но может же человек один раз в жизни поскользнуться». Александр Межиров рассказывал, что сам накануне рокового дня улетел в Тбилиси, а оттуда уехал на такси в Ереван, чтобы только его не нашли, «но Слуцкий так поступить не мог – другой характер». Сам Слуцкий писал о себе: «Уменья нет сослаться на болезнь...» И выступил. Осутил Пастернака.

Вот что рассказывает об этой трагедии Петр Горелик:

«Прежде чем передать запомнившееся мне объяснение самого Бориса, должен со всей определенностью сказать: Слуцкий не тот человек, который мог пойти на это по каким-либо конъюнктурным соображениям. Вся его жизнь, вся его поэзия тому подтверждение.

Один-единственный раз говорили мы с ним об этом. Да и другие его друзья старались не напоминать ему, понимая, как он сам трагически переживает случившееся.

Наш разговор состоялся, когда мы впервые после происшедшего встретились в Москве. Я рискнул спросить Бориса о его выступлении. Борис не оправдывался, но ссылаясь на сильный нажим, на вызов в ЦК. Он был прижат к стенке положением секретаря парторганизации поэ-

тической секции Московской писательской организации. Ему оставалось, по его собственному выражению, «выступить как можно менее неприлично». Наш разговор он закончил прямо и однозначно: «Отказавшись, я должен был положить партийный билет. После XX съезда я этого не хотел и не мог сделать». Я понял его слова как выражение поддержки «оттепели».

Борис, единственный из выступавших (а председательствовал на том собрании Сергей Сергеевич Смирнов, выступал и Леонид Мартынов, не говоря уже о многочисленных софронových), так вот, только Борис не поддакнул председателю КГБ Семичастному с его отвратительным сравнением – он назвал Пастернака «свиньей, которая гадит там, где ест»; в словах Слуцкого не было и намека на требование изгнать Пастернака из страны и из Союза писателей, не было никаких отрицательных высказываний о художественных достоинствах поэзии Пастернака. А что «поэт должен искать признания на родной земле, а не у заморского дяди» (цитирую по стенограмме выступления Слуцкого, ныне опубликованной), так это соответствовало глубокому убеждению Слуцкого. Ему самому никогда не приходило в голову напечатать за границей сотни своих стихов, не имевших шанса быть опубликованными на родине, хотя там нашлось бы немало желающих. Думаю, что резко отрицательное отношение Бориса к публикациям за границей было одной из тех щелочек, сквозь которую удалось убедить его выступить.

Все последующие годы я видел, какая тяжесть легла на его душу. Трагедию сталинщины он переживал как трагедию народную. Причастность к «пастернаковской» истории – как свою личную трагедию».

В 1960 году умер Пастернак. Галич напишет: «Как гордитесь вы, современники, что он умер в своей постели». Слуцкий не гордился. Его грызло чувство вины: «Где-то струсил, и этот случай, / Как его там не назови, / Солью самую злой, колючей / Оседают в моей крови...».

Но неужели, пройдя огонь и воду, он не выдержал испытания медными трубами, которые начиная с 1956 года вовсю трубили над его контуженной головой? Известный популярный поэт, благословленный невероятно авторитетным в те годы Эренбургом. Только что вышедшая и зачитанная до дыр первая книга. Неожиданное официальное государственное подтверждение его правоты в отношении Сталина. Наконец, долгожданная взаимная любовь, личное счастье...

Тут главные слова – «правота» и «личное».

Чувство правоты и как фронтовика, победителя, и как гражданина, и как поэта (вспомним мандельштамовское – «поэзия есть чувство правоты») могло заставить Слуцкого во время судилища над Пастернаком позабыть собственные горькие строки и связанные с ними переживания: «Я судил людей...». (Там ведь была строчка-заклинание: «Больше никого судить не буду!») Неужели именно так?

Или все-таки важнее «личное»? Нет-нет, совсем не то, чтобы он боялся потерять личные блага. Не та система ценностей. Просто с «личным» у него в то время, наконец, было все в порядке. И важнее (в том числе и поэтому) представлялось общественное. Собственно, как почти всегда почти у всех лучших представителей этого первого советского поколения. А в «Докторе Живаго» утверждалось как раз обратное. Чуть ли не главная мысль романа: личное – важнее! Поэт имеет право не участвовать в политике, в нескончаемой в России гражданской войне. Это Слуцкому не могло нравиться. Он считал своим долгом участвовать. Помогать общественному благу. Он, поэт жалости к людям, очень хотел гуманизации общества. Видел в «оттепели» начало этой гуманизации. А Пастернак, что, необходимая жертва? Возможно, он думал именно так. Но ошибался. И ошибка стала очевидной очень скоро.

«Оттепель» закончилась. Россию снова подморозили. Это для Слуцкого стало ударом. Почти апокалипсическим.

Если бы не было в его жизни Тани, кто знает, выплыл ли бы Слуцкий после того крушения. Уже не советский бог, а совсем другой, настоящий, управлял его судьбой и оказался куда

милостивее – подарил поэту семейное счастье, хотя и омраченное невозможностью иметь детей из-за болезни Татьяны Дашковской («У людей – дети, у нас – только кактусы»). Но отношения с Таней держали Слуцкого «на плаву». Впервые после детства он был не одинок. Он посвятил Дашковской свою книгу «Работа», где были, например, такие строчки: «Надо, чтоб было, куда пойти, / Надо, чтоб было, с кем не стесняться, / С кем на семейной карточке сняться, / Кому телеграмму отбить в пути...»

Потом эта, хотя и в полной мере разделенная, любовь, все равно обернется для поэта трагедией. Татьяна Дашковская заболеет неизлечимой болезнью: лимфогранулематоз. Слуцкий сделает все для того, чтобы ее спасти, вплоть до лечения в Париже. Но все безрезультатно – в феврале 1977-го Дашковской не станет. Слуцкий напишет огромное количество стихотворений за два с половиной месяца после смерти своей Тани и погрузится в глубокую медицинскую депрессию. Самойлову скажет: «Я написал двести стихотворений и сошел с ума». Самойлов не согласится с ним, определив состояние Бориса Абрамовича не как болезнь ума, а как болезнь души. Среди этих последних стихотворений Слуцкого большинство – о любви к Тане и своем одиночестве без нее. Среди них есть подлинные шедевры: «Каждое утро вставал и радовался, / как ты добра, как ты хороша...», «Мужья со своими делами, нервами, / чувством долга, чувством вины / должны умирать первыми, первыми, / вторыми они умирать не должны...» и еще немало. Любовная лирика лавинообразно настигла Слуцкого в самом конце творческой жизни.

После этих «двухсот стихотворений» он не написал ни строчки. Отказывался от встреч с не самыми близкими людьми (а иногда и с близкими), разговоров о литературе. Полежал в нескольких больницах. В «свет» выходил только на похороны старых друзей (я в последний раз видел его на похоронах Юрия Трифонова). Когда-то Слуцкий говорил своим семинаристам: «Давайте хоронить друг друга». От своих принципов, как известно, он никогда не отступал – даже во время болезни.

А болезнь длилась девять лет.

Последние годы прожил у брата, крупного специалиста по стрелковому оружию, Ефима Абрамовича в Туле. Учил сына племянницы иностранным языкам. На телефонные звонки знакомых и почитателей отвечал отрывисто и лаконично: «Я болен. Ни с кем не общаюсь». Ушел из жизни 23 февраля 1986 года. Тогда еще это был День Советской армии. Многим дата его смерти показалась символичной с учетом фронтового прошлого, «майорства» и «комиссарства» Слуцкого.

Панихида состоялась в ритуальном зале крематория – ЦДЛ был занят под что-то более важное, с точки зрения писательских генералов. Плакал Самойлов. Горько щурился Вознесенский. Кому-то из многочисленных писательских вдов стало плохо... У многих возникло одно и то же острое ощущение, что хоронили тогда не только великого поэта, но и целую эпоху.

Борис Слуцкий бесспорно один из самых крупных поэтов советского периода русской литературы. Может быть, самый крупный (Мандельштама, Пастернака, Ахматову, Цветаеву, Маяковского, Есенина и Заболоцкого нельзя отнести полностью к советской эпохе). Вся его жизнь (1919—1986)) уложилась в этот период. А состав его мышления, выйдя из точки «Всем лозунгам я верил до конца...», дошел до конечного пункта под названием Крах иллюзий. И тут можно вспомнить десятки неизданных на родине при жизни поэта стихотворений-исповедей (наряду с его стихами-свидетельствами), одно так и начинается: «Иллюзия давала стол и кров...». Но процитирую другое, написанное еще при жизни Сталина:

Я строю на песке, а тот песок
еще недавно мне скалой казался.
Он был скалой, для всех скалой остался,
а для меня распался и потек.

Я мог бы руки долу опустить,
я мог бы отдых пальцам дать корявым.
Я мог бы возмутиться и спросить,
за что меня и по какому праву...
Но верен я строительной программе.
Прижат к стене, вися на волоске,
я строю на плывущем под ногами,
на уходящем из-под ног песке.

1952

Библейское звучание этих стихов придает личной трагедии поэта всемирно-исторический масштаб, а обреченность советской утопии предстает непреложным фактом, причем задолго до краха СССР с его «строительной программой». Так исповедь становится пророчеством.

Движение Слуцкого к конечной станции Крах иллюзий не было равномерным и прямолинейным. Пути поэт прокладывал сам, еще не подозревая, куда они приведут. А состав его мышления был переполнен, как поезда времен Гражданской войны, как вагонзаки, как эшелоны Второй мировой...

Мышление применительно к поэзии Слуцкого – слово ключевое. Стихи для него были не столько способом высказывания, тем более самовыражения, сколько именно способом мышления. Потому и писал он – до самой своей болезни – очень много и практически непрерывно: человек не может не думать. Потому и не имело решающего значения то, что огромное количество его стихов – в том числе лучших – не было напечатано: мысли-то уже были зафиксированы на бумаге. И все же... Разве не трагедия, что «известный советский поэт-фронтовик» при жизни был известен своим современникам преимущественно как автор «Лошадей в океане» да строчек «Что-то физики в почете, / Что-то лирики в загоне...»? Разве это не очередное испытание, посланное советскому Иову уже в брежневскую пору, когда место советского бога занимал его немощный местоблюститель?

Анна Ахматова, высоко ставившая поэзию Слуцкого, как-то обронила: «От него ожидали большего». Она не знала его лучших стихов, писавшихся «в стол». Их оказалось около двух тысяч. Иосифу Бродскому повезло больше – он знал, и вот что написал: «Именно Слуцкий, едва ли не в одиночку, изменил звучание послевоенной русской поэзии... Вообще, я думаю, что начал писать стихи потому, что прочитал стихи советского поэта, довольно замечательного, Бориса Слуцкого». «Теперь можно сказать то, что почему-то не принято говорить при жизни: назвать его великим, – это слова Евгения Евтушенко. – Да, я убежден: Слуцкий был одним из великих поэтов нашего времени».

Когда Толстой, чрезвычайно важный для Слуцкого писатель («От Толстого происхожу, ото Льва, через деда...», «Народ, прочитавший Толстого...», «И воевали тоже по Толстому...»), сомневался в самой возможности существования стихов – как это: идти за плугом и при этом пританцовывать?! – он не думал о возможности появления другой стихотворной эстетики. Такой, как у Слуцкого. Без пританцовывания.

Слуцкий именно идет за плугом, поднимая те пласты народной жизни, которые во времена Толстого считались исключительно объектом эпической прозы. Он не думает об изяществе, очевидно, уповая на то, что красив сам процесс тяжелой работы, если она выполняется добросовестно и сноровисто.

На этом пути много потерь, но есть и бесценные приобретения.

При чтении стихов Слуцкого надо помнить, что помимо пушкинской гармонии в нашей поэзии существует гармония Державина и Маяковского, вот на подобную гармонию и следует настроить свое ухо, тогда упреки в «неизящности» Слуцкого отпадут сами собой.

...поют, конечно, тенорами,
но и басами хриплыми поют, —

так поэт сам определил свой голос.

Напоследок хочется процитировать еще одно стихотворение Слуцкого, во многом объясняющее его болезнь, его категорический уход за девять лет до смерти из общественной и литературной жизни:

Ценности сорок первого года:
я не желаю, чтобы льгота,
я не хочу, чтобы броня
распространялась на меня.

Ценности сорок пятого года:
я не хочу козырять ему.
Я не хочу козырять никому.

Ценности шестьдесят пятого года:
дело не делается само.
Дайте мне подписать письмо.

Ценности нынешнего дня:
уценяйтесь, переоценяйтесь,
реформируйтесь, деформируйтесь,
пародируйте, деградируйте,
но без меня, без меня, без меня.

Кажется, эти стихи Слуцкий мог бы написать и сегодня – едва ли не с большим основанием. Значит, они тоже пророческие.

Р. С. Слуцкий крайне редко ставил под стихами даты. Только в самых принципиальных для себя случаях – например, под стихотворениями «Я строю на песке...» или Хозяин. Естественно, мы их сохранили. В других случаях можно только приблизительно установить, к какому периоду относятся стихотворения, – за исключением раздела Последний взгляд, все тексты которого написаны весной 1977 года.

Также необходимо знать, что в разное время Слуцкий по-разному записывал свои стихи: то классически – каждую строчку с заглавной буквы, то нет.

* * *

Про меня вспоминают и сразу же —
про лошадей,
рыжих, тонущих в океане.
Ничего не осталось – ни строк, ни идей,
только лошади, тонущие в океане.

Я их выдумал летом, в большую жару:
масть, судьбу и безвинное горе.
Но они переплыли и выдумку, и игру
и приплыли в синее море.

Мне поэтому кажется иногда:
я плыву рядом с ними, волну рассекаю,
я плыву с лошадьми, вместе с нами беда,
лошадиная и людская.

И покуда плывут—вместе с ними
и я на плаву:
для забвения нету причины,
но мгновения лишнего не проживу,
когда канут в пучину.

Советская старина

Броненосец «Потемкин»

Шел фильм.
И билетерши плакали
По восемь раз
Над ним одним.
И парни девушек не лапали,
Поскольку стыдно было им.

Глазами горькими и грозными
Они смотрели на экран,
А дети стать стремились взрослыми,
Чтоб их пустили на сеанс.

Как много создано и сделано
Под музыки дешевый гром
Из смеси черного и белого
С надеждой, правдой и добром!

Свободу восславляли образы,
Сюжет кричал, как человек,
И пробуждались чувства добрые
В жестокий век,
В двадцатый век.

И милость к падшим призывалась,
И осуждался произвол.
Все вместе это называлось,
Что просто фильм такой пошел.

* * *

В революцию, типа русской,
лейтенантам, типа Шмидта,
совершенно незачем лезть:
не выдерживают нагрузки,
словно известняк – динамита,
их порядочность, совесть, честь.

Не выдерживают разрыва,
то ли честь, то ли лейтенанты,
чаще лейтенанты, чем честь.
Все у них то косо, то криво
и поэтому им не надо,
совершенно не надо лезть.

Революциям русского типа,
то есть типа гражданской войны,
вовсе не такие типы,
не такие типы нужны,
совершенно другие типы
революции русской нужны.

Чаеторговцы

Боткины, Высоцкие, Поповы!
Попрекну, замечу и попомню
заводил, тузов былой Москвы.
Экий чай заваривали вы!

Выдавая дочерей за гениев,
посылая младших сыновей
то в друзья к Толстому и Тургеневу,
то в революционный ветровей.

Крепок сук был, на каком сидели.
Только все наследники – при деле:
ни на миг не покладая рук,
весело рубили этот сук.

Чай индийский, чай цейлонский, чай японский.
Царского двора поставщики.
Споры, и открытия, и поиски.
Революции вестовщики.

Где же ты сегодня, чай спитой,
молодым и незнакомым племенем
до последней черной запятой
вываренный?
А также временем.

Есть старухи, гордые, как павы,
продавшие все и до конца
вплоть до обручального кольца —
Боткины, Высоцкие, Поповы.

Последние кустари

А я застал последних кустарей,
ремесленников слабых, бедных, поздних.
Степенный армянин или еврей,
холодный, словно Арктика, сапожник

гвоздями каблуки мне подбивал,
рассказывая не без любованья,
когда и где и как он побывал
и сколько лет – за это подбиванье.

Присвоили заводы слово «цех»,
цеха средневековые исчезли,
а мастера – согнулись и облезли.
Но я еще застал умельцев тех.

Теперь не император и не папа —
их враг, их норма, их закон,
а фининспектор – кожаная лапа,
который, может, с детства им знаком.

Работали с зари и до зари
фанатики индивидуализма.
В тени больших лесов социализма
свои кусты растили кустари.

Свое: игла, наперсток, молоток.
Хочу – приду! Хочу – замок повешу.
Я по ладоням тягостным, по весу
кустаря определить бы смог.

Старуха в окне

Тик сотрясал старуху,
Слева направо бывший,
И довершал разруху
Всей этой дамы бывшей:
Шептала и моргала,
И головой качала,
Как будто отвергала
Все с самого начала,
Как будто отрицала
Весь мир из двух окошек,
Как будто отрезала
Себя от нас, прохожих.
А пальцы растирали,
Перебирали четки,
А сына расстреляли
Давно у этой тетки.
Давным-давно. За дело.
За то, что был он белым.
И видимо – пронзило,
Наверно – не просила.
Конечно – не очнулась
С минуты той кровавой.
И голова качнулась,
Пошла слева направо,
Потом справа налево,
Потом опять направо,
Потом опять налево.
А сын – белее снега
Старухе той казался,
А мир – краснее крови
Ее почти касался.
Он за окошком – рядом —
Сурово делал дело.
Невыразимым взглядом
Она в окно глядела.

Старые офицеры

Старых офицеров застал еще молодыми,
как застал молодыми старых большевиков,
и в ночных разговорах в тонком табачном дыме
слушал хмурые речи, полные обиняков.

Век, досрочную старость выделив тридцатилетним
брал еще молодого, делал его последним
в роде, в семье, в профессии,
в классе, в городе летнем.
Век обобщал поспешно,
часто верил сплетням.

Старые офицеры,
выправленные казармой,
прямо из старой армии
к нови белых армий
отшагнувшие лихо,
сделавшие шаг,
ваши хмурые речи до сих пор в ушах.

Точные счетоводы,
честные адвокаты,
слабые живописцы,
мажущие плакаты,
но с обязательной тенью
гибели на лице
и с постоянной памятью о скоростном конце!

Плохо быть разбитым,
а в гражданских войнах
не бывает довольных,
не бывает спокойных,
не бывает ушедших
в личную жизнь свою,
скажем, в любимое дело
или в родную семью.

Старые офицеры
старые сапоги
осторожно донашивали,
но доносить не успели,
слушали ночами, как приближались шаги,
и зубами скрипели,
и терпели, терпели.

Елка

Гимназической подруги
мамы
 стая дочерей
светятся в декабрьской вьюге,
словно блики фонарей.
Словно елочные свечи,
тонкие сияют плечи.

Затянувшуюся осень
только что зима смела.
Сколько лет нам? Девять? Восемь?
Елка первая светла.
Я задумчив, грустен, тих —
в нашей школе нет таких.

Как зовут их? Вика? Ника?
Как их радостно зовут!
— Мальчик,— говорят,— взгляни-ка!
— Мальчик,— говорят,— зовут! —
Я сгораю от румянца.
Что мне, плакать ли, смеяться?

— Шура, это твой? Большой.
Вспомнила, конечно, Боба. —
Я стою с пустой душой.
Душу выедает злоба.
Боба! Имечко! Позор!
Как терпел я до сих пор!

Миг спустя и я забыт.
Я забыт спустя мгновенье,
хоть меня еще знобит,
сводит яд прикосновенья
тонких, легких детских рук,
ввысь
 подбрасывающих вдруг.

Я лечу, лечу, лечу,
не желаю опуститься,
я подарка не хочу,
я не требую гостинца,
только длились бы всегда
эти радость и беда.

Трибуна

Вожди из детства моего!
О каждом песню мы учили,
пока их не разоблачили,
велев не помнить ничего.
Забыть мотив, забыть слова,
чтоб не болела голова.

...Еще столица – Харьков. Он
еще владычен и державен.
Еще в украинской державе
генсеком правит Косиор.

Он мал росточком, коренаст
и над трибуной чуть заметен,
зато лобаст и волей мечен
и спуску никому не даст.

Иона рядом с ним, Якир
с лицом красавицы еврейской,
с девическим лицом и резким,
железным
вымахом руки.

Петровский, бодрый старикан,
специалист по ходакам;
и Балецкий, спец по расправам,
стоят налево и направо.

А рядышком: седоволос,
высок и с виду – всех умнее
Мыкола Скрыпник, наркомпрос.
Самоубьется он позднее.

Позднее: годом ли, двумя,
как лес в сезон лесоповала,
наручниками загремя,
с трибуны загремят в подвалы.

Пройдет еще не скоро год,
еще не скоро их забудем,
и, ожидая новых льгот,
мы, площадь, слушаем трибуну.

Низы,
мы слушаем верхи,

а над низами и верхами
проходят облака, тихи,
и мы следим за облаками.

Какие нынче облака!
Плывут, предчувствий не тревожа.
И кажется совсем легка
истории большая ноша.

Как день горяч! Как светел он!
Каким весна ликует маем!
А мы идем в рядах колонн,
трибуну с ходу обтекаем.

Деревня и город

Когда в деревне голодали —
и в городе недоедали.

Но все ж супец пустой в столовой
не столь заправлен был бедой,
как щи с крапивой,
хлеб с половой,
с корой,
а также с лебедой.

За городской чертой кончались
больница, карточка, талон,
и мир села сидел, отчаясь,
с пустым горшком, с пустым столом,
пустым амбаром и овином,
со взором, скорбным и пустым,
отцом оставленный и сыном
и духом брошенный святым.

Там смерть была наверняка,
а в городе – а вдруг устроюсь!
Из каждого товарняка
сыпались слабость, хворость, робость.

И в нашей школе городской
крестьянские сидели дети,

с сосредоточенной тоской
смотревшие на все на свете.
Сидели в тихом забытье,
не бегали по переменкам
и в городском своем житье
все думали о деревенском.

Какой полковник!

Какой полковник! Четыре шпалы!
В любой петлице по две пары!
В любой петлице частокол!
Какой полковник к нам пришел!

А мы построились по росту.
Мы рассчитаемся сейчас.
Его веселье и геройство
легко выравнивает нас.

Его звезда на гимнастерке
в меня вперяет острый луч.
Как он прекрасен и могуч!
Ему – души моей восторги.

Мне кажется: уже тогда
мы в нашей полной средней школе,
его

 вверяясь
 мощной воле,
провидели тебя, беда,
провидели тебя, война,
провидели тебя, победа!

Полковник нам слова привета
промолвил.
Речь была ясна.

Поигрывая мощью плеч,
сияя светом глаз спокойных,
полковник произнес нам речь:
грядущее предрек полковник.

Школа для взрослых

В те годы утром я учился сам,
А вечером преподавал историю
Для тех ее вершителей, которые
Историю вершили по утрам:
Для токарей, для слесарей, для плотников,
Встававших в полшестого, до гудка,
Для государства нашего работников,
Для деятелей стройки и станка.

Я был и тощ и невысок, а взрослые —
Все на подбор, и крупные и рослые,
А все-таки они день ото дня
Все терпеливей слушали меня.

Работавшие день-деньской, усталые,
Они мне говорили иногда:
— Мы пожилые. Мы еще не старые.
Еще учиться не ушли года. —
Работавшие день-деньской, до вечера,
Карандашей огрызки очиня,
Они упорно, сумрачно и вежливо,
И терпеливо слушали меня.

Я факты объяснял,
а точку зрения
Они, случалось, объясняли мне.
И столько ненависти и презрения
В ней было
к барам,
к Гитлеру,
к войне!

Локтями опершись о подоконники,
Внимали мне,
 морщина глыбы лбов,
Чапаева и Разина поклонники,
Сторонники
 голодных и рабов.

А я гордился честным их усердием,
И сам я был
внимателен, как мог.
И радостно,
с открытым настежь сердцем,
Шагал из института на урок.

Ножи

Пластающий, полосующий
уже суетился нож.
Вопрос, всех интересующий,
решить
он был очень гожд.

Решения сразу найдутся,
пройдутся легко рубежи,
когда ножи сойдутся,
когда разойдутся ножи.

Уже надоело мерить
всем по семь раз
и всё хотелось отрезать
хотя бы один раз.

Раз! Но чтоб по живому
и чтобы – твердой рукой.
К решению ножевому
склонялся род людской.

И вспомнили: даже в библии
среди прочих иных идей
и резали, и били, и
уничтожали людей.

И без большого усилия
учености столпы
нарекли насилие
повитухой судьбы.

Как только обоснование,
формулировку нашли —
вырезали до основания,
дотла сожгли.

Лопаты

На рассвете с утра пораньше
По сигналу пустеют нары.
Потолкавшись возле парашаи,
На работу идут коммунары.

Основатели этой державы.
Революции слава и совесть —
На работу!
С лопатою ржавой.
Ничего! Им лопата не новость.

Землекопами некогда были.
А потом – комиссарами стали.
А потом их сюда посадили
И лопаты корявые дали.

Преобразовавшие землю
Снова
Тычут
Лопатой
В планету
И довольны, что вылезла зелень,
Знаменуя полярное лето.

Названия и переименования

Все парки культуры и отдыха
были имени Горького,
хотя он был известен
не тем, что плясал и пел,
а тем, что видел в жизни
немало плохого и горького
и вместе со всем народом
боролся или терпел.

А все каналы имени
были товарища Сталина,
и в этом смысле лучшего
названия не сыскать,
поскольку именно Сталиным
задача была поставлена,
чтоб всю нашу старую землю
каналами перекопать.

Фамилии прочих гениев
встречались тоже, но редко.
Метро – Кагановича именем
было наречено.
То пушкинская, то чеховская,
то даже толстовская метка,
то школу, то улицу метили,
то площадь, а то – кино.

А переименование —
падение знаменовало.
Недостоверное имя
школа носить не могла.
С грохотом, равным грохоту
горного, что ли, обвала,
обрушивалась табличка
с уличного угла.

Имя падало с грохотом
и забывалось не скоро,
хотя позабыть немедля
обязывал нас закон.
Оно звучало в памяти,
как эхо давнего спора,
и кто его знает, кончен
или не кончен он?

Рука

Студенты жили в комнате, похожей
На блин,
но именуемой «Луной».
А в это время, словно дрожь по коже,
По городу ходил тридцать седьмой.

В кино ходили, лекции записывали
И наслаждались бытом и трудом,
А рядышком имущество описывали
И поздней ночью вламывались в дом.

Я изучал древнейшие истории,
Столетия меча или огня
И наблюдал события, которые
Шли, словно дрожь по коже, вдоль меня.

«Луна» спала. Все девять черных коек,
Стоявших по окружности стены.
Все девять коек, у одной из коих
Дела и миги были сочтены.

И вот вошел Доценко – комендант,
А за Доценко – двое неизвестных.
Вот этих самых – малых честных —
Мы поняли немедля по мордам.

Свет не зажгли. Светили фонарем.
Фонариком ручным, довольно бледным.
Всем девяти светили в лица, бедным.
Я спал на третьей, слева от дверей,
А на четвертой слева – англичанин.
Студент, известный вежливым молчаньем
И – нацией. Не русский, не еврей,
Не белорус. Единственный британец.
Мы были все уверены – за ним.

И вот фонарик совершил свой танец,
И вот мы услышали: «Гражданин».
Но больше мне запомнилась – рука.
На спинку койки ею опирался
Тот, что над англичанином старался.

От мышц натренированных крепка,
Бессовестная, круглая и белая.
Как лунный луч на той руке играл,

Пока по койкам мы лежали, бедные,
И англичанин вещи собирал.

Идеалисты в тундре

Философов высылали
Вагонами, эшелонами,
А после их поселяли
Между лесами зелеными,
А после ими чернили
Тундру – белы снега,
А после их заметала
Тундра, а также – пурга.

Философы – идеалисты:
Туберкулез, пенсне, —
Но как перспективы мглысты,
Не различишь, как во сне.
Томисты, гегельянцы,
Платоники и т. д.,
А рядом – преторианцы
С наганами и тэтэ.

Былая жизнь, как чарка,
Выпитая до дна,
А рядом – вышка, овчарка.
А смерть – у всех одна.
Приготовлением к гибели
Жизнь
 кто-то из них назвал.
Эту мысль не выбили
Из них
 барак и подвал.

Не выбили – подтвердили:
Назвавший был не дурак.
Философы осветили
Густой заполярный мрак.
Они были мыслью тундры.
От голоданья легки,
Величественные, как туры,
Небритые, как босьяки,
Торжественные, как монахи,
Плоские, как блины,
Но триумфальны, как арки
В Париже
 до войны.

Прозаики

*Артему Веселому,
Исааку Бабелю,
Ивану Катаеву,
Александру Лебедеву*

Когда русская проза пошла в лагеря —
В землекопы,
А кто половчей – в лекаря,
В дровосеки, а кто потолковей – в актеры,
В парикмахеры
Или в шоферы, —
Вы немедля забыли свое ремесло:
Прозой разве утетишься в горе?
Словно утлые щепки,
Вас влекло и несло,
Вас качало поэзии море.

По утрам, до поверки, смирны и тихи,
Вы на нарах слагали стихи.
От бескормиц, как палки, тощи и сухи,
Вы на марше творили стихи.
Из любой чепухи
Вы лепили стихи.

Весь барак, как дурак, бормотал, подбирал
Рифму к рифме и строчку к строке.
То начальство стихом до костей пробирал,
То стремился излиться в тоске.

Ямб рождался из мерного боя лопат,
Словно уголь он в шахтах копался,
Точно так же на фронте из шага солдат
Он рождался и в строфы слагался.

А хорей вам за пайку заказывал вор,
Чтобы песня была потягучей,
Чтобы длинной была, как ночной разговор,
Как Печора и Лена – текучей.

А поэты вам в этом помочь не могли,
Потому что поэты до шахт не дошли.

Размол кладбища

Главным образом ангелы, но
также Музы и очень давно,
давности девяностолетней,
толстощекий Амур малолетний,
итальянцем изящно изваянный
и теперь в кучу общую сваленный.
Этот мрамор валили с утра.
Завалили поверхность двора
всю, от номера первой – квартиры
до угла, где смердели сортиры.
Странно выглядит вечность, когда
так ее извояет беда.

Это кладбище лютеранское,
петербургское, ленинградское
вырвали из родимого лона,
нагрузили пол-эшелона,
привезли как-то утром в наш двор,
где оно и лежало с тех пор.

Странно выглядит вечность вообще.
Но когда эта вечность вотще,
если выдрана с корнем, разрушена
и на пыльные лужи обрушена, —
жалко вечности, как старика,
побирающегося из-за куска.

Этот мрамор в ночах голубел,
но не выдержал и заробел,
и его, на заре розовеющего
и старинной поэзией веющего,
матерьял его и ореол
предназначили ныне в размол.

Этих ангелов нежную плоть
жернова будут долго молоть.
Эти важные грустные плиты
будут в мелкую крошку разбиты.
Будет гром, будет рев, будет пыль:
долго мелют забытую быль.

Миновало полвека уже.
На зубах эта пыль, на душе.
Ангела подхватив под крыло,
грузовик волочил тяжело.

Сыпал белым по белому снег.
Заметал – всех.
Заваливал – всех.

Сороковой год

Сороковой год.
Пороховой склад,
У Гитлера дела идут на лад.
А наши как дела?
У пограничного столба,
где наш боец и тот – зольдат, —
судьбе глядит в глаза судьба.
С утра до вечера. Глядят!

День начинается с газет.
В них ни словечка – нет,
но все равно читаем между строк,
какая должность легкая – пророк!
И между строк любой судьбу прочтет,
а перспективы – все определяют:
сороковой год.

Пороховой склад.
Играют Вагнера со всех эстрад.
А я ему – не рад.
Из головы другое не идет:
сороковой год —
пороховой склад.

Мы скинулись, собрались по рублю,
все, с кем пишу, кого люблю,
и выпили и мелем чепуху,
но Павел вдруг торжественно встает:
– Давайте-ка напишем по стиху
на смерть друг друга. Год – как склад
пороховой. Произведем обмен баллад
на смерть друг друга. Вдруг нас всех убьет,
когда взорвет
пороховой склад
сороковой год...

21 июня

Тот день в году, когда летает
Над всей Москвой крылатый пух
И, белый словно снег, не тает.

Тот самый длинный день в году,
Тот самый долгий, самый лучший,
Когда плохого я не жду.

Тот самый синий, голубой,
Когда близки и достижимы
Успех, и дружба, и любовь.

Не проходи, продлись, помедли.
Простри неспешные часы.
Дай досмотреть твои красы,

Полюбоваться, насладиться.
Дай мне испить твоей водицы,
Прозрачной, ключевой, живой.

Пусть пух взлетевший – не садится.
Пусть день еще, еще продлится.
Пусть солнце долго не садится.
Пусть не заходит над Москвой.

Это было моей персональной войной

Первый день войны

Первый день войны. Судьба народа
выступает в виде первой сводки.
Личная моя судьба— повестка
очереди ждет в военкомате.
На вокзал идет за ротой рота.
Сокращается продажа водки.
Окончательно, и зло, и веско
громяхают формулы команд.

К вечеру ближайший ход событий
ясен для пророка и старухи,
в комнате своей, в засохшем быте,
судорожно заламывающей руки:
пятеро сынов, а внуков восемь.
Ей, старухе, ясно. Нам – не очень.
Времени для осмысленья просим,
что-то неуверенно пророчим.

Ночь. В Москве учебная тревога,
и старуха призывает бога,
как зовут соседа на бандита:
яростно, немедленно, сердито.
Мы сидим в огромнейшем подвале
елисеевского магазина.
По тревоге нас сюда созвали.
С потолка свисает осетрина.

Пятеро сынов, а внуков восемь
получили в этот день повестки,
и старуха призывает бога,
убеждает бога зло и веско.

Вскоре объявляется: тревога —
ложная, готовности проверка,
и старуха, призывая бога,
возвращается в свою каморку.

Днем в военкомате побывали,
записались в добровольцы скопом.
Что-то кончилось.
У нас – на время.
У старухи – навсегда, навеки.

Одиннадцатое июля

Перематывает обмотку,
размотавшуюся обормотку,
сорок первого года солдат.
Доживет до сорок второго —
там ему сапоги предстоят,
а покудова он сурово
бестолковый поносит снаряд,

По ветру эта брань несется
и уносится через плечо.
Сорок первого года солнце
было, помнится, горячо.
Очень жарко солдату. Душно.
Доживи, солдат, до зимы!
До зимы дожить еще нужно,
нужно, чтобы дожили мы.

Сорок первый годок у века.
У войны – двадцатый денек.
А солдат присел на пенек
и глядит задумчиво в реку.
В двадцать первый день войны
о столетии двадцать первом
стоит думать солдатам?
Должны!
Ну, хотя б для спокойствия нервам.
Очень трудно до завтра дожить,
до конца войны – много легче.
А доживший сможет на плечи
груз истории всей возложить.

Посредине примерно лета,
в двадцать первом военном дне,
восседает солдат на пне,
и как точно помнится мне —
резь в глазах от сильного света.

РККА

Кадровую армию: Егорова,
Тухачевского и Примакова,
отступавшую спокойно, здорово,
наступавшую толково, —
я застал в июле сорок первого,
но на младшем офицерском уровне.
Кто постарше – были срублены
года за три с чем-нибудь до этого.
Кадровую армию, имевшую
гордое именование: Красная, —
лжа не замарала и напраслина,
с кривдою и клеветою смешанные.
Помню лето первое, военное.
Помню, как спокойные военные
нас – зеленых, глупых, необстрелянных —
обучали воевать и выучили.
Помню их, железных и уверенных.
Помню тех, что всю Россию выручили.
Помню генералов, свежавышедших
из тюрьмы
и сразу в бой идущих,
переживших Колыму и выживших,
почестей не ждущих —
ждущих смерти или же победы,
смерти для себя, победы для страны.
Помню, как сильны и как умны
были, отложившие обиды
до конца войны,
этой самой РККА сыны.

* * *

Последнею усталостью устав,
Предсмертным равнодушием охвачен,
Большие руки вяло распластав,
Лежит солдат.
Он мог лежать иначе,
Он мог лежать с женой в своей постели,
Он мог не рвать намокший кровью мох,
Он мог...
Да мог ли? Будто? Неужели?
Нет, он не мог.
Ему военкомат повестки слал.
С ним рядом офицеры шли, шагали.
В тылу стучал машинкой трибунал.
А если б не стучал, он мог?
Едва ли.
Он без повесток, он бы сам пошел.
И не за страх – за совесть и за почестъ.
Лежит солдат – в крови лежит, в большой,
А жаловаться ни на что не хочет.

Сбрасывая силу страха

Силу тяготения земли
первыми открыли пехотинцы, —
поняли, нашли, изобрели,
а Ньютон позднее подкатился.

Как он мог, оторванный от практики,
кабинетный деятель, понять
первое из требований тактики:
что солдата надобно поднять.

Что солдат, который страхом мается,
ужасом, как будто животом,
в землю всей душой своей вжимается,
должен всей душой забыть о том.

Должен эту силу, силу страха,
ту, что силы все его берет,
сбросить, словно грязную рубаху.
Встать.
Вскричать «ура».
Шагнуть вперед.

Политрук

Словно именно я был такая-то мать,
Всех всегда посылали ко мне.
Я обязан был все до конца понимать
В этой сложной и длинной войне.
То я письма писал,
То я души спасал,
То трофеи считал,
То газеты читал.

Я военно-неграмотным был. Я не знал
В октябре сорок первого года,
Что войну я, по правилам, всю проиграл
И стоит поражение у входа.
Я не знал,
И я верил: победа придет.
И хоть шел я назад,
Но кричал я: «Вперед!»

Не умел воевать, но умел я вставать,
Отрывать гимнастерку от глины
И солдат за собой поднимать
Ради Родины и дисциплины.
Хоть ругали меня,
Но бросались за мной.
Это было
Моей персональной войной.

Так от Польши до Волги дорогой огня
Я прошел. И от Волги до Польши.
И я верил, что Сталин похож на меня,
Только лучше, умнее и больше.
Комиссаром тогда меня звали.
Попом
Не тогда меня звали,
А звали потом.

Немка

Ложка, кружка и одеяло.
Только это в открытке стояло.

– Не хочу. На вокзал не пойду
с одеялом, ложкой и кружкой.
Эти вещи вещают беду
и грозят большой заварушкой.

Наведу им тень на плетень.
Не пойду.— Так сказала в тот день
в октябре сорок первого года
дочь какого-то шваба иль гота,

в просторечии немка; она
подлежала тогда выселенью.
Все немецкое население
выселялось. Что делать, война.

Поначалу все же собрав
одеяло, ложку и кружку,
оросив слезами подушку,
все возможности перебрав:
– Не пойду! (с немецким упрямством)
Пусть меня волокут тягачом!
Никуда! Никогда! Нипочем!

Между тем, надежно упрятан
в клубы дыма,
Казанский вокзал
как насос высасывал лишних
из Москвы и окраин ближних,
потому что кто-то сказал,
потому что кто-то велел.
Это все исполнялось притко.
И у каждого немца белел
желтоватый квадрат открытки.
А в открытке три слова стояло:
ложка, кружка и одеяло.

Но, застлав одеялом кровать,
ложку с кружкой упрятав в буфете,
порешила не открывать
никому ни за что на свете
немка, смелая баба была.

Что ж вы думаете? Не открыла,
не ходила, не говорила,
не шумела, свету не жгла,
не храпела, печь не топила.
Люди думали – умерла.

– В этом городе я родилась,
в этом городе я и подохну:
стихну, онемею, оглохну,
не найдет меня местная власть.

Как с подножки, спрыгнув с судьбы,
зиму всю перезимовала,
летом собирала грибы,
барахло на толчке продавала

и углы в квартире сдавала.
Между прочим, и мне.

Дабы
в этой были не усумнились,
за портретом мужским хранились
документы. Меж них желтел
той открытки прямоугольник.

Я его в руках повертел:
об угонах и о погонях
ничего. Три слова стояло:
ложка, кружка и одеяло.

Казахи под Можайском

С непривычки трудно на фронте,
А казаху трудно вдвойне:
С непривычки ко взводу, к роте,
К танку, к пушке, ко всей войне.

Шли машины, теснились моторы,
А казахи знали просторы,
И отары, и тишь, и степь.
А война полыхала домной,
Грохотала, как цех огромный,
Была, как железная цепь.

Но врожденное чувство чести
Удержало казахов на месте.
В Подмосковье в большую пургу
Не сдавали рубеж врагу.

Постепенно привыкли к стали,
К громоханию и к огню.
Пастухи металлистами стали.
Становились семь раз на дню.

Постепенно привыкли к грохоту
Просоводы и чабаны.
Приросли к океанскому рокоту
Той Великой и Громкой войны.

Механизмы ее освоили
Степные, южные воины,
А достоинство и джигитство
Принесли в снега и леса,
Где тогда громохала битва,
Огнедышащая полоса.

Высвобождение

За маленькие подвиги даются
медали небольшой величины.

В ушах моих разрывы отдаются.
Глаза мои пургой заметены.

Я кашу съел. Была большая миска.
Я водки выпил. Мало: сотню грамм.
Кругом зима. Шоссе идет до Минска.
Лежу и слушаю вороний гай.

Здесь, в зоне автоматного огня,
когда до немца метров сто осталось,
выкапывает из меня усталость,
выскакивает робость из меня.

Высвобождает фронт от всех забот,
выталкивает маленькие беды.

Лежу в снегу, как маленький завод,
производящий скорую победу.
Теперь сниму и выколочу валенки,
поставлю к печке и часок сосну.
И будет сниться только про войну.

Сегодняшний окончен подвиг маленький.

Ранен

Словно хлопнули по плечу
Стопудовой горячей лапой.
Я внезапно наземь лечу,
Неожиданно тихий, слабый.
Убегает стрелковая цепь,
Словно солнце уходит на запад.
Остается сожженная степь,
Я
 и крови горячей запах.
Я снимаю с себя наган —
На боку носить не сумею.
И ремень, как большой гайтан,
Одеваю себе на шею!
И – от солнца ползу на восток,
Приминая степные травы.
А за мной ползет кровавый
След.
 Дымящийся и густой.
В этот раз, в этот первый раз
Я еще уползу к востоку

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.